

ТЕАТР МЕЛАНХОЛИИ

Начну с того, что я считаю книгу Н. Рис действительно очень важной. Она, помимо своей научной ценности в рамках культурной антропологии (о которой я в полной мере и не могу судить), является замечательным образчиком жанра "путешествий в Россию", идущего от Кюстина, если не от Герберштейна. Замечательным, потому что автор сумел заметить странность и сложность ситуации и не поддаться стереотипам, бытующим как вне, так и внутри России. Кроме того, эта работа, пусть ее выход по-русски и запоздал относительно описываемых событий, имеет свой смысл и в контексте внутрироссийских идеологических споров.

Итак, Рис описывает *парадокс*. Люди, которые живут в столь интересное, многообещающее, пусть тяжелое время, люди, многие из которых искренне поддерживают либерально-демократические, прозападные реформы времен перестройки, вместо того чтобы радоваться и действовать, предаются "ламентациям", т.е. рассказывают заезжей госте, как ужасно всегда страдал русский человек, как он будет всегда страдать и как он вообще ни на что не способен.

Конечно, парадоксальность ситуации заметно зависит от *контраста* между пассажистским настроением российского общества и активистской, "позитивной" идеологией общества американского, которая и определяет ожидания исследовательницы. Русские посетители Америки не менее удивленно и иронично, пусть менее виртуозно, реагируют на бодрый и практически ориентированный, но поэтому часто свехтравожный разговор американцев (чего стоят поминутные проверки "все ли ОК?" или постоянное ожидание "проблем" и "наслаждения"). Однако этот эффект наблюдателя только украшает исследование Рис, во-первых, потому, что придает ему эмоциональность, подходящую иногда до памфлетной, а во-вторых, потому, что столкновение западно-протестантского и российского этоса было важной частью самого исторического процесса трансформации, о котором и идет речь.

Рис объединяет в своем анализе несколько идеологических разновидностей "литаний" – "антисоветские", "просоветские", "популистские" (т.е. обычно аполитичные) и "русофильские". Это вообще-то совсем разные дискурсы, причем в "просоветском", реакционном варианте апокалиптизм и негативизм были выражены в те годы гораздо сильнее, чем в варианте "антисоветском", который в основном и описывает Рис. Так что можно даже заподозрить, что противники перестройки сумели риторически переиграть ее сторонников, навязав им свой негативизм, пусть в форме критики русского народа, Советского Союза и т.п. Но факт остается фактом, и здесь Рис права: между этими разными идеологиями наблюдается жанровая конвергенция.

Почему? Обратимся теперь к объяснениям, которые предлагает Рис. Предлагает она их сразу несколько: придание смысла ситуации бессилия; (соответственно) самоутверждение в этой ситуации; мольба или молитва (ритуального характера); магическая защита от "сглаза" (с. 196–198 книги Н. Рис).

Объяснительный характер также носит история жанра, которую приводит Рис. Так, она упоминает в числе других "ритуальных" форм плача петиции царю в 1905 г., справедливо замечая, что такого рода lamentация может играть роль политического сопротивления (с. 213). Но затем Рис все-таки квалифицирует и эти плачи как ритуально-магические и обрывает эту линию рассуждения.

Между тем очевидно, в том числе из ее собственной книги, что "литании" – это не только ритуалы, но и вполне эффективные формы революционной борьбы. Отрицание правящего режима, вызов его легитимности происходят здесь пусть в пассивной, но зато (и поэтому) в страстной, эмоциональной форме. Французская революция также началась с *sahiers de doleance* и с маршей голодных женщин. Другое дело, что, конечно, эта форма борьбы недостаточна для построения прочного республиканского

стройка. Итак, "литании" российских граждан функциональны не только в символическом, но и в инструментальном смысле – во-первых, как единственная разрешенная форма социального протеста в советское время, а во-вторых, как потенциально подорывная форма взрывного социального протеста.

Хотя эта линия объяснения обнаруживается в книге Рис, преобладает тем не менее не она. Последним объяснением, которое дает автор, становится *ритуал*, причем *ритуал перехода*. Будучи ситуативно обусловлен перестройкой, он представляет из себя иррациональный пережиток прошлого (с. 318) и отражает "фундаментальные социальные диспозиции и ключевые логические структуры русской культуры" (с. 196).

В качестве такого пережитка ритуал жалобы сыграл губительную для перестройки роль за счет фатализма и чувства бессилия, которое он создавал у людей. И здесь трудно не согласиться с автором. Но попробуем все-таки поискать такое объяснение парадокса ламентации, которое бы избежало опасности эссенциализма "русской культуры" (сиречь души) и а-исторического сведения политической идеологии к ритуалу.

Для этого попробуем принять "литании" всерьез – как важную символическую деятельность, работающую на революционное событие. Как уже сказано, дискурс жалобы направлен не только на то, чтобы выбить из властей побольше материальных благ, но в больших дозах и на то, чтобы делегитимировать эту власть и выразить свой протест. Да, люди хвастаются умением терпеть, но ведь там, где есть терпение, там оно может и лопнуть. Что мы и наблюдаем в те же годы перестройки, когда люди с трибун на митингах и съездах воспроизводят все тот же апокалиптический, "очернительный" дискурс. Так что здесь ламентации вполне вписываются в структуру события.

Более того, революционное событие (каким были перестройка и начало 1990-х в России) – это не просто антагонизм, но антагонизм *внутренний*, где отрицательная энергия обращается не на внешних врагов, а на само общество, обращается людьми на себя, друг на друга и на все сообщество. Революция должна пронизать всю толщу общества и дойти до основания. А для этого необходимо самокопание и саморазрушение (Магун 2003). Поэтому неудивительно, что респонденты Рис занимаются самоуничтожением – обычно не лично себя, а общества (народа, страны) в целом. Но об обществе, о его трансформации ведь и идет речь! Таким образом, в тех дискурсивных моментах более общей социальной активности, которые ухватила Рис, идет вполне необходимая, пусть болезненная работа рефлексии, работа по становлению субъекта. Самообвинение предъясняет униженное пассивное "я" или "мы", однако за ним бессознательно стоит тот, *кто* обвиняет – агрессивный, если не садистский субъект, стремящийся выйти из текущего состояния.

В то же время ситуация "борьбы с собой" всегда неопределенна, так как неясно, где проходит раскол, граница между прошлым и будущим, друзьями и врагами. Саморазрушение не может быть буквальным (тогда оно было бы просто самоубийством) и поэтому принимает символический и риторический характер, которым можно идеологически манипулировать.

В случае советской перестройки неприятие и ненависть были направлены на официальные власти, широко использовавшие гражданственную риторику и насаждавшие коллективизм (с тем или иным успехом). Уже в 1970–1980-е годы в СССР сложилось сознание, раздвоенное между государственной идеологией и противоположной идеологией общества. В перестройку эти две идеологии вошли в кризис, симптомом которого и явились "литании". Неприятие государства было так велико, что люди предпочли отвернуться от него вовсе, как бы притвориться, что его нет. Уже к концу перестройки начались массовая деполитизация и политическая апатия. Тем самым реализовалась крайне радикальная анархическая программа, но в символическом, условном виде.

В результате негативистская идеология ламентаций, бывшая симптомом революционного кризиса, приняла новый вид: теперь символическое уничтожение "мы" (страны, народа) как безнадежного и обреченного коллективного субъекта давало субъекту алиби на безудержный индивидуализм, которого и требовал от него новый "капиталистический" порядок. Российский субъект "врос" в капитализм своим духом чрезвычайщины и аномии: раз такое творится и раз все равно нет никаких шансов, то я могу воровать, убивать, обманывать или просто наживаться, что до того не одобря-

лось ни официальной, ни неофициальной советской культурой. Отсюда и функция магического "экрана", о которой упоминает Рис: русский человек не врет, когда "прибедняется" (он никогда не сообщит вам свой реальный доход), а искренне уверен, т.е. идеологически себя убедил, что он беден, потому что, во-первых, на Западе люди гораздо богаче, а во-вторых, в этой стране нельзя ни на что надеяться. Тем не менее даже такой идеологический субъект все-таки остается *субъектом*, и ламентации выражают (задним числом осознанную) родовую травму его субъективации.

Книга Рис – не нейтральное научное наблюдение; мы знаем многих из ее "информантов" и знакомых, и видим, что американский антрополог солидаризируется с идеологической позицией "конструктивной" части российской интеллигенции, которая боролась как с пассивным нытьем, так и с активной оппозицией режиму Ельцина. Так, статьи Д. Дондурей середины 1990-х годов бичуют негативистски настроенные СМИ, разоблачают стоящие за ними интересы финансовых спекулянтов и... выдвигают программу государственной "позитивной" пропаганды, которая и была успешно реализована в 2000-х годах (Дондурей 1998).

Остается вопрос, насколько в связи с российскими "литаниями" мы можем говорить о русской национальной культуре, как это делает Рис вслед за некоторыми ее поспешными информантами? Занимая эту точку зрения, Рис сама присоединяется к ламентациям своих респондентов: "экзистенциальный вопрос, подвигнувший меня на исследование – тот же, что без конца задавали себе москвичи: почему российский опыт столь богат страданиями и неудачами?" (с. 25).

Конечно, в русской культуре наработаны жанры плача, как отработаны они вообще в христианской культуре, а также в еврейской, древнегреческой и др. Конечно, этот жанр связан с неким опытом деспотизма, который есть в прошлом у каждого народа. Но делать из этого жанра исторический фетиш представляется неправильным, а главное, политически опасным. Люди будут всегда жаловаться на жизнь и ругать власть (как делают они и в Америке, но меньше, потому что там более легитимная власть и более конформное население), будут строить из себя жертв (в Америке это происходит в судах, а у нас – на кухнях), но они вовсе не обязаны совершать это в том агрессивно-аномийном смысле, как они делали это в перестройку, и в том эскапистском смысле, в котором они осуществляют это сейчас. Хотя мы способны проследить корни любой речевой формы, она может иметь совершенно разное *значение*. Поэтому мы должны всегда "читать" культурный текст, ориентируясь на актуально происходящее событие (событие может длиться годами и десятилетиями, но текст участвует в нем и дейктически к нему отсылает).

И уж точно следует отвергнуть квалификацию "ламентаций" у Рис как досадного наследия прошлого. Если речь и идет о ритуалах, то они – плоть от плоти современного общества, в частности они конститутивны для ключевой инстанции этого общества – *субъективности*. Непродуктивно здесь противопоставлять России некую модель Запада и его прогресса. Западный политический субъект родился из череды революций примерно таким же путем и в таких же муках, что сейчас рождается российский. Как показал Клод Лефор, Французская революция создала на Западе политический субъект, который отказывается идентифицироваться с властью (Лефор 2000). То же, увы, в контрпродуктивной форме произошло и у нас. А тот факт, что Запад забывает свое революционное наследие и начинает рассматривать себя как позитивного и практичного, но озабоченного благодетеля, уже сейчас начинает ему угрожать символическим коллапсом общества, что Н. Рис трезво и отмечает в предисловии к книге (с. 12), с дистанции, которая отделяет нас не только от перестройки, но и от себя самих.

Литература

Дондурей 1998 – Дондурей Д. Самый перспективный бизнес – запугивание страны // Эксперт. 1998. 6 апр.

Лефор 2000 – Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М.: РОССПЭН, 2000.

Магун 2003 – Магун А. Понятие и опыт революции // НЛО. 2003. № 64.